

Монахиня

Автор:

[Дени Дидро](#)

Монахиня

Дени Дидро

«... Замысел „Монахини“ (1760) вызревал постепенно под влиянием сенсационных разоблачений тайн, скрытых за монастырскими стенами, случаев дикого изуверства, особенно участившихся в конце 50-х годов XVIII века, во время очередного столкновения между сторонниками ортодоксальной римской церкви и янсенистами. Монастырский быт стал предметом общественного обсуждения. Дидро принял в этом самое активное участие. ...»

Дени Дидро

Монахиня

(роман)

От ответа маркиза де Круамара – если только он мне ответит – зависит все, что последует в дальнейшем. Прежде чем написать ему, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть

самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если когда-нибудь мой покровитель потребует – да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия, – чтобы эти записки были закончены, а отдаленные события уже изгладятся из моей памяти, – этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, нежили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!» – она никогда не относилась к этим словам на мой счет. Иногда я бывала сторицей вознаграждена за ее несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной – словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя – откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева – а он был горяч, – некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги – все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, – кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованны, то чем я рискую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.

Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек; вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие, и вот как меня отблагодарили за него: дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в монастырь Св. Марии – мой первый монастырь – с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К., он нотариус в Корбейле; они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего г-на Бошона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампуа, и живет с ним довольно хорошо.

Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам дали порядочное приданое, я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери; он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода: она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услышав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже, – сказал отец Серафим, – ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель: вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей, а эта смерть может наступить еще не скоро...» Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена; она ждала меня за дверью приемной. Я была в неопишемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? (Она лучше меня знала, что со мной.) На вас лица нет! Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть! Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!» – но сдержалась и только воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери, я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел

первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня; соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности, обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О сударь, вы даже представить себе не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей! Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные: ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для решения, наступил, и она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их: умение обуздывать свои чувства – великое искусство монахинь. Затем она сказала – и, право, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое! Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами!..» Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча, потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что, – сказала она, – почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Пусть так! Почему бы вам и не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему – только пробыть у нас еще два года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому – жить. Два года – немалый срок: мало ли что может случиться за это время?» К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. «Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило?»

Итак, она написала моему отцу; ее письмо было составлено превосходно – о, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы – ничего она не утаила, и, уверяю вас, тут и более проникательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какою быстротой все было готово! Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии – теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков.

Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбонны, подготовлял меня, а епископ Алепский совершил

надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я двадцать раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде ее стан и руки!..» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало внимания. Однако окружающие притворились, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право, не знаю, – сказала она, посмотрев на меня, – почему вы питаете такое отвращение к этой одежде. Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна – премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо, не нужно так горбиться...» Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя[1 - Марсель – знаменитый парижский учитель танцев.] – урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Затем она села и сказала: «Ну а теперь поговорим серьезно. Вы выиграла два года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда, – это не так уж невозможно». – «Сударыня, об этом нечего и думать». – «Вы долго были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и отрады...»

Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много, и везде одно и то же, – благодарение богу, мне давали читать целый ворох дребедени, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают.

Не стану подробно описывать вам мое послушничество. Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила; в действительности

же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница послушниц – всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача – скрыть от вас все тернии монашества: это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает. Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду – и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее, устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.

Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться; я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем настоятельнице или наставнице послушниц. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемеров и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов это так им надоедает, становится таким скучным! И все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи экю, которая достается их монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на сорок, на пятьдесят лет, – а быть может, и вечную гибель. Ибо нет сомнения, сударь, что из ста монахинь, которые умирают, не достигнув пятидесяти лет, ровно сто губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти.

Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья – в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее! Она была растрепана и почти раздета; она волочила за собой железные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла; она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями; она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас, я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, тысячу раз умереть, нежели

подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой: она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды – она переживала тогда критический возраст – ее сильно напугали, и ей стали являться привидения; она вообразила, что имеет общение с ангелами; она начиталась зловредных книг, которые и помutilи ей рассудок; она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом божьим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и геенна огненная; все они, монахини, просто несчастны из-за нее: ведь это неслыханный случай – иметь в своем монастыре подобную личность; и не помню уж, что еще... Все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета.

Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром, после ранней обедни, настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние, руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня; казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первая. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я: вид мой показался ей не совсем здоровым. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она продолжала держать письмо в опущенной руке. Задавая мне эти вопросы, она положила его на колени и слегка прикрыла ладонью. Наконец, направив разговор на моих родителей и видя, что я так и не спрашиваю, что за листок у нее в руке, она сказала: «Вот письмо...»

При этих словах сердце мое забилось, губы задрожали, и я спросила прерывающимся голосом:

– От матушки?

– Вы угадали. Вот, прочтите...

Немного оправившись, я взяла письмо. Сначала я читала его довольно твердым голосом, но с каждой строчкой страх, негодование, гнев, досада, различные

страсти сменялись в моей душе, и у меня менялся голос, менялось выражение лица, я делала нервные движения: то я едва держала этот листок кончиками пальцев, то хватала так, словно хотела разорвать, то с силой сжимала в руке, словно собираясь скомкать и отшвырнуть подальше от себя.

- Ну что же, дитя мое, что мы ответим на это?

- Сударыня, вы знаете сами.

- Да нет же, не знаю. Обстоятельства неблагоприятны: ваше семейство понесло убытки. Дела ваших сестер расстроены, и у той, и у другой есть дети. Ваши родители исчерпали свои средства, выдав дочерей замуж, а теперь разоряются, чтобы поддержать их. Они не смогут прилично обеспечить вас: вы стали послушницей, что было связано с большими расходами. Этим шагом вы дали им пищу для определенных надежд. В миру распространился слух о вашем будущем пострижении. Впрочем, вы можете по-прежнему рассчитывать на мою помощь. Я никогда еще никого не вовлекала в монашество насильно: это – звание, к которому нас призывает бог, и очень опасно примешивать свой голос к его зову. Я не стану пытаться взывать к вашему сердцу, если ему ничего не говорит благодать господня. До сих пор мне никогда не приходилось упрекать себя в чужом несчастье; ужели я захочу начать с вас, дитя мое, когда вы так дороги мне? Я не забыла, что первый шаг вы предприняли именно после моих уговоров, и не допущу, чтобы этим злоупотребили, принудив вас к чему-либо помимо вашей воли. Итак, давайте подумаем, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней?

- Нет, сударыня.

- Вы не чувствуете никакой склонности к духовному званию?

- Нет, сударыня.

- Вы не подчинитесь воле ваших родителей?

- Нет, сударыня.

- Кем же вы хотите быть?

– Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть ею и не буду.

– Хорошо, вы не будете монахиней. Давайте обсудим ответ вашей матушке...

Мы обменялись кое-какими мыслями. Она написала и показала мне письмо, которым я осталась очень довольна. Между тем ко мне поспешили направить монастырского духовника; ко мне прислали ученого богослова, того самого, который напутствовал меня перед тем, как я сделалась послушницей; меня поручили особому попечению наставницы; я увиделась с его преосвященством епископом Алепским; мне пришлось вести длинные споры с разными богомольными женщинами, которые вмешались в мое дело, хотя я совсем их не знала; у меня шли бесконечные беседы с монахами и священниками; приезжал отец, сестры присылали мне письма, последней явилась мать – я выдержала все. Тем не менее день моего пострига был назначен. Чтобы получить мое согласие, было сделано решительно все; когда же убедились, что добиться его невозможно, решили обойтись и без него.

С этого момента я была заперта в келье; мне предписали молчание, разлучили меня со всем миром, предоставили самой себе, и я поняла, что решено было распорядиться мною помимо моей воли. Я отнюдь не собиралась сдаваться! Я была готова ко всему, и все ужасы, настоящие или мнимые, которые мне преподносили, не могли меня поколебать. Однако мое положение было достойно жалости. Я не знала, сколько времени может продлиться мое заточение, и еще меньше знала, что будет со мной, когда оно окончится. В этом состоянии неизвестности я приняла одно решение, о котором вы можете судить, как вам будет угодно, сударь. Я никого больше не видела – ни настоятельницы, ни наставницы и послушниц, ни товарок. Я попросила передать первой, будто бы согласна выполнить волю родителей: в действительности же я намеревалась положить конец этим преследованиям, предав дело огласке, и публично заявить протест против готовившегося надо мной насилия. Итак, я сказала, что они хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я стану монахиней, раз таково их требование. Весь монастырь возликовал; снова вернулись ласковые речи, а с ними лесть и соблазнительные обещания. Мое сердце вняло гласу божию, я создана для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это было неизбежно, этого ждали все; нельзя исполнять свои обязанности так примерно и с таким усердием, если они не являются истинным вашим призванием. Наставница послушниц никогда еще не видела ни у одной из своих учениц столь ярко выраженной склонности к монашеству, она была чрезвычайно удивлена моими странностями, но всегда говорила

настоятельнице, что надо проявить твердость – и все пройдет, ибо у лучших монахинь бывают такие минуты: это внушение злого духа, который удваивает свои усилия, когда видит, что добыча от него ускользает; что я избавилась от него и теперь меня ждут только розы, ибо обязанности монашеской жизни будут переноситься мною тем легче, чем сильнее я преувеличивала их трудность; что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, которое воспользовалось этим средством, чтобы его облегчить...» Мне казалось несколько странным, что одна и та же вещь исходит и от бога, и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей, и часто, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие – что они внушены мне богом. Одно и то же зло исходит либо от бога, который испытывает нас, либо от дьявола, который нас искушает.

Я вела себя с большой осторожностью и считала, что могу отвечать за себя. Я виделась с отцом – он холодно говорил со мной. Виделась с матерью – она поцеловала меня. Получила поздравительные письма от сестер и от многих других лиц. Мне стало известно, что напутственное слово произнесет некий г-н Сорнен, викарий церкви Св. Роха, а г-н Тьерри, канцлер университета, примет мой обет. До кануна знаменательного дня все шло хорошо, за исключением одного обстоятельства: я узнала, что церемония будет совершена тайно, что пригласят очень немногих и двери церкви будут открыты только для родственников. Тогда через привратницу я пригласила всех своих друзей и подруг, живших по соседству; кроме того, мне разрешили написать кое-кому из знакомых. Вся эта толпа, которой никто не ожидал, не преминула явиться; пришлось впустить ее, и собрание оказалось именно таким, какое было мне нужно для осуществления моего замысла. Ах, сударь, какую ночь я провела накануне этого дня! Я вовсе не ложилась. Я сидела на кровати и призывала на помощь бога. Я поднимала руки к небу и молила его быть свидетелем совершаемого надо мной насилия. Я представляла себе свою роль у подножия алтаря, представляла себе девушку, громко протестующую против обряда, на который она как будто сама согласилась, скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, гнев родителей. «О боже, что со мной будет?..» Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом, у меня дрожали колени, зубы стучали. За ознобом последовал страшный жар, в голове у меня помутилось. Не помню, как я разделась, как вышла из кельи, но меня нашли в одной сорочке распростертой на полу у дверей настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это я узнала впоследствии. Утром я очнулась в своей келье. Вокруг моей кровати стояли настоятельница, наставница

послушниц и так называемые сестры-помощницы. Я была совершенно без сил. Мне задали несколько вопросов, поняли по моим ответам, что я не имею никакого представления о том, что произошло, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как я себя чувствую, тверда ли я в своем святом решении и ощущаю ли в себе силы перенести волнения этого дня. Я ответила утвердительно, и, против всеобщего ожидания, обряд не был отменен.

Все было подготовлено еще накануне. Зазвонили колокола, возвещая всему миру, что сейчас появится еще одна несчастная. У меня снова забилось сердце. Пришли одевать меня. Этот день – день облачения. Сейчас, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней могло быть нечто торжественное и очень трогательное, если бы речь шла о молоденькой и неопытной девушке, не увлекаемой никакими иными склонностями. Меня привели в церковь, отслужили обедню. Добрый викарий, предполагавший во мне смирение, которым я отнюдь не обладала, сказал мне длинную напутственную речь, где не было ни одного слова, которое бы не шло вразрез с истиной. Как нелепо было все, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем мужестве, рвении, усердии и всех тех добрых чувствах, которыми он меня наделял. Противоречие между его похвалами и тем поступком, который я собиралась совершить, смутило меня, и я начала колебаться; но это колебание длилось недолго. Я лишь острее ощутила, что во мне нет тех качеств, какие требовались, чтобы сделаться хорошей монахиней. Наконец страшная минута наступила. Когда надо было стать на то место, где я должна была произнести обет, у меня подкосились ноги. Две товарки взяли меня под руки, голова моя упала на плечо одной из них, я еле передвигала ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но перед ними была юная умирающая жертва, которую влекли к алтарю; со всех сторон до меня доносились вздохи и рыдания, но среди них не было слышно вздохов и рыданий моих родителей – я твердо уверена в этом. Все встали, некоторые из молодых девушек взобрались на стулья и держались за перекладины решетки. Наступило глубокое молчание, и священник, возглавлявший мое пострижение, сказал:

– Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?

– Обещаю.

– По доброй ли воле и желанию находитесь вы здесь?

Я ответила: «Нет», – но сопровождавшие меня монахини ответили за меня: «Да».

– Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

С секунду я колебалась, священник ждал, и я ответила:

– Нет, сударь.

Он повторил:

– Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

Я ответила более твердым голосом:

– Нет, сударь, нет.

Он остановился и сказал:

– Придите в себя, дитя мое, и слушайте меня внимательно.

– Отец мой, – сказала я ему, – вы спрашиваете, даю ли я богу обет целомудрия, бедности и послушания. Я хорошо расслышала вас и отвечаю: «Нет».

Затем, повернувшись к присутствовавшим, среди которых раздался довольно громкий шепот, я знаками показала, что хочу говорить. Шепот прекратился, и я сказала:

– Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидетели...

При этих словах одна из сестер задернула решетку занавесом, и я увидела, что продолжать бесполезно. Монахини окружили меня, осыпая упреками. Я слушала их, не говоря ни слова. Меня отвели в келью и заперли там на ключ.

Здесь, в одиночестве, отдавшись своим мыслям, я начала успокаиваться душой. Я еще раз обдумала свой поступок и ничуть не раскаялась в нем. Я решила, что после той огласки, которой я добилась, меня не смогут надолго оставить здесь

и, пожалуй, не посмеют отдать в другой монастырь. Я не знала, что меня ожидает, но, по моему убеждению, ничто не могло быть хуже необходимости стать монахиней помимо воли. Довольно долгое время со мной никто не разговаривал. Женщины, приносящие мне еду, ставили ее на пол и молча уходили. Месяц спустя мне принесли мирскую одежду, и я сняла с себя монастырскую. Явилась настоятельница и велела мне следовать за ней. Я дошла с ней до монастырских ворот. Здесь я села в экипаж, где меня ожидала моя мать. Она была одна. Я села на переднее сиденье, и карета тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, не произнося ни слова. Глаза мои были опущены, и я не смела взглянуть на нее. Не знаю сама, что происходило в моей душе, но вдруг я бросилась к ногам матушки. Я не говорила ни слова, только рыдала и задыхалась. Она сурово оттолкнула меня. Я не поднялась с колен, у меня пошла носом кровь. Несмотря на сопротивление, я схватила ее руку; орошая ее слезами и лившейся кровью, прижимаясь к ней губами, я целовала ее и говорила: «И все-таки вы моя мать, все-таки я ваша дочь...» Она ответила (оттолкнув меня еще суровее и вырвав руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я повиновалась, села на свое место и спустила чепец на лицо: в звуке ее голоса было столько властности и твердости, что мне захотелось укрыться от ее взгляда. Слезы и кровь, которая текла у меня из носа, смешались вместе, струились по рукам, и, сама того не замечая, я была вся залита ими. Из нескольких произнесенных матерью слов я поняла, что запачкала ей белье и платье и что она сердится на это. Мы приехали домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную маленькую комнатку. На лестнице я снова бросилась к ногам матери, схватила ее за платье, но она только обернулась в мою сторону – это было все, чего я добилась, – и взглянула на меня, причем поворот ее головы, губы, глаза выразили такое негодование, которое я не в силах передать вам, но которое вы можете себе представить.

Я вошла в свою новую тюрьму, где пробыла полгода, ежедневно умоляя, как о милости, разрешить мне поговорить с матерью, увидеться с отцом или написать им. Мне приносили пищу, убирали комнату. По праздникам служанка сопровождала меня к обедне, а потом снова запирала. Я читала, вышивала, плакала, иногда пела, и так проходили дни. Одно лишь тайное чувство поддерживало меня – чувство, что я свободна и что моя судьба, как тяжела она ни была, еще может перемениться. Однако было решено, что я стану монахиней, и я стала ею.

Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны родителей окончательно подтвердили мои подозрения относительно обстоятельств моего рождения: я никогда не могла найти иных причин, чтобы оправдать их. Очевидно, мать

боялась, как бы в один прекрасный день я не заговорила о разделе имущества и не потребовала своей доли наследства, как бы внебрачная дочь не оказалась на одной доске с законными дочерьми. Однако тому, что было всего лишь догадкой, вскоре предстояло превратиться в уверенность.

Находясь под домашним арестом, я плохо выполняла церковные обряды, но все же в канун больших праздников меня посылали на исповедь. Я уже рассказывала вам, что у меня и у матери был общий духовник. Я поговорила с ним, описала ему всю суровость, с какой обращались со мной в течение последних трех лет. Он знал об этом. С особенной горечью и обидой жаловалась я ему на мать. Этот священник поздно принял духовный сан и еще не утратил человеколюбия. Он спокойно выслушал меня и сказал:

– Дитя мое, не порицайте свою мать, а лучше пожалейте. У нее добрая душа. Уверяю вас, она поступает так помимо воли.

– Помимо воли! Да кто же может ее принудить? Разве не она произвела меня на свет? И какая же разница между сестрами и мной?

– Большая.

– Большая! Я совершенно не понимаю вашего ответа.

Я начала было сравнивать себя с сестрами, но он прервал меня и сказал:

– Довольно, довольно. Ваши родители не страдают пороком бесчеловечности. Постарайтесь терпеливо переносить вашу участь, это поможет вам снискать хотя бы милость господню. Я увижусь с вашей матушкой и, уверяю вас, употреблю все свое влияние на нее, чтобы помочь вам...

Этот ответ «большая» явился для меня лучом света. Теперь я более не сомневалась в том, что догадки по поводу моего рождения были справедливы.

В ближайшую субботу, к концу дня, около половины шестого вечера, приставленная ко мне служанка поднялась ко мне и сказала: «Матушка приказывает вам одеться...» Через час: «Матушка велит вам ехать со мной». У подъезда я увидела экипаж, в который мы и сели – служанка и я. Я узнала, что

мы едем в Фельянский монастырь, к отцу Серафиму. Он нас ждал. Он был один. Служанка удалилась, и я вошла в приемную. Я села, с тревогой и любопытством ожидая его слов. Вот что он мне сообщил:

- Мадемуазель, сейчас вы узнаете разгадку сурового обращения с вами ваших родителей. Я получил на это разрешение от вашей матушки. Вы рассудительны, у вас есть ум, твердость, вы сейчас уже в таком возрасте, когда вам можно было бы доверить тайну даже и в том случае, если бы она не имела к вам прямого отношения. Я давно уже уговаривал вашу матушку открыть вам то, что вы узнаете сегодня, но она никак не могла решиться на это: трудно матери признаться в тяжком грехе своему ребенку. Вам известен ее характер - ей нелегко примириться с униженностью некоторых признаний. Она полагала, что ей и без того удастся осуществить свои намерения касательно вас, но она ошиблась и расстроена этим. Сейчас она решила последовать моему совету и поручила мне сообщить вам, что вы не дочь господина Симонена.

- Я это подозревала, - ответила я быстро.

- Теперь, мадемуазель, подумайте, взвесьте, судите сами, может ли ваша матушка без согласия - или даже с согласия - вашего отца приравнять вас к другим дочерям, в то время как вы вовсе не сестра им; может ли она признаться вашему отцу в проступке, относительно которого у него и без того уже немало подозрений?

- Но кто же мой отец?

- Этого мне не открыли, мадемуазель. Ясно одно - что вашим сестрам даны огромные преимущества перед вами, что приняты все возможные меры предосторожности: брачные контракты, изменение состава имущества, добавочные условия, фидеикомисы[2 - Фидеикомис (лат.) - буквально: порученное совести; институт римского права, перешедший в ряд европейских юридических систем Средневековья и нового времени. Согласно воле наследодателя, наследник по закону обязан выдать третьему лицу какую-либо вещь, или определенную долю наследства, или же все наследство целиком.] и другие средства, чтобы свести к нулю причитающуюся вам по закону часть на тот случай, если бы когда-нибудь вы обратились в суд, желая ее получить. Если вы лишитесь родителей, вам достанется очень мало. Вы отказываетесь от монастыря. Быть может, настанет день, когда вы пожалеете, что не находитесь там.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Марсель – знаменитый парижский учитель танцев.

2

Фидеикомис (лат.) – буквально: порученное совести; институт римского права, перешедший в ряд европейских юридических систем Средневековья и нового времени. Согласно воле наследодателя, наследник по закону обязан выдать третьему лицу какую-либо вещь, или определенную долю наследства, или же все наследство целиком.

Купить: <https://tellnovel.com/deni-didro/monahinya-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)